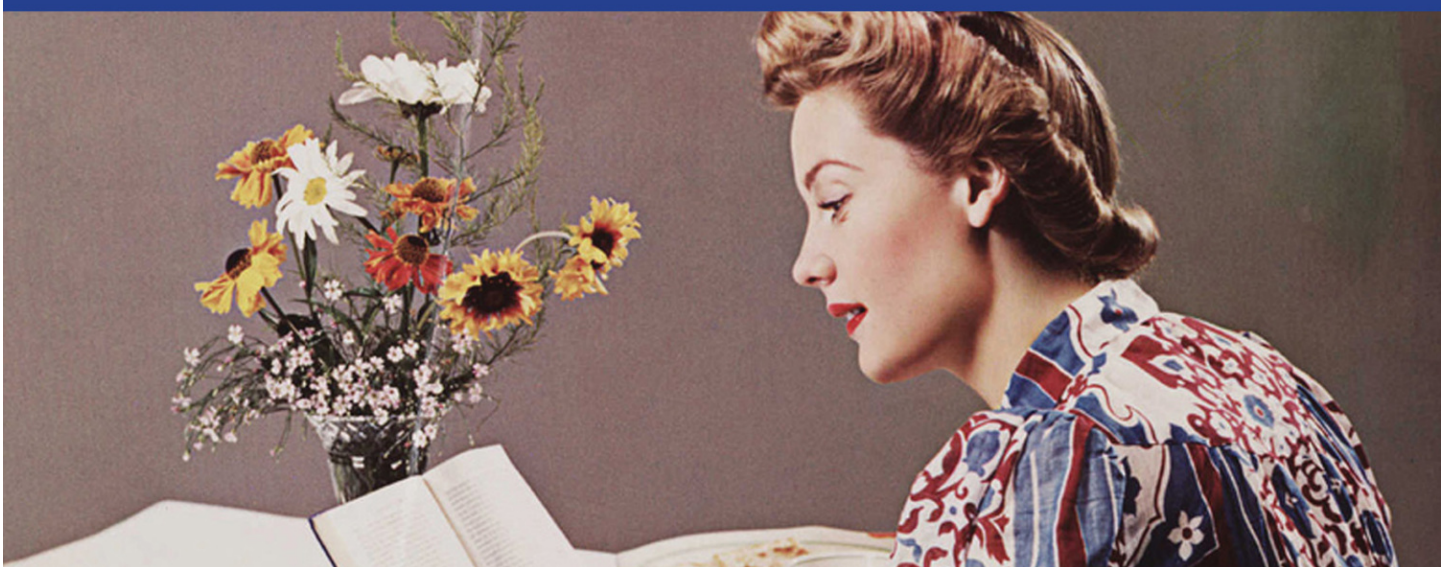


Галина Щербакова

Ангел мертвого озера

ФТМ



Галина Щербакова
Ангел Мёртвого озера

«ФТМ»

2003

Щербакова Г. Н.

Ангел Мёртвого озера / Г. Н. Щербакова — «ФТМ», 2003

ISBN 978-5-4467-1819-1

Августовским днем, ближе к вечеру, немолодая женщина в светлом костюме, украшенном букетиком шелковых фиалок на отвороте, спустилась вниз в переход на Пушкинской площади. Скрылась во тьме коридора, а потом странным образом взлетела факелом... Это был московский теракт 2000 года, оставшийся нераскрытым и ненаказанным. Воронка того взрыва, возникшая, по допущению автора романа, в пространстве и времени, заполонилась водоворотом всевозможных людских судеб, свойственных для России неповторимых девяностых годов, то ли «лихих», то ли благословенных... Судеб очень разных – и часто вызывающих к состраданию.

ISBN 978-5-4467-1819-1

© Щербакова Г. Н., 2003

© ФТМ, 2003

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Мозг | 6 |
| Китеж на вашу голову | 11 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 14 |

Галина Щербакова

Ангел мертвого озера

© Текст. Г. Н. Щербакова, наследники, 2020

© Агентство ФТМ, Лтд., 2020



– Вы продаете аспирин?

– Нет.

– Жаль, жаль. У отца кончился аспирин. Может, у вас есть чудодейственные зелья? Папаша любит делать чудеса.

– Нет, я никакими зельями не торгую. Я писатель.

– А почему вы думаете, что писатели не торгуют зельем?..

К. Воннегут

Мозг

...Откуда-то из черного огня, легкая, как андерсеновская балеринка, возникла мысль: «Я не дочитала Воннегута. В книге остались очки». И сам автор, кудрявый, с высунутым языком, почти лизнул ее в нос. Но тут же другая мысль: «С языком – это Эйнштейн. Я их всегда путала». И снова ничего, хотя в черной стене появились сероватые мешки просветов. Одним словом, из небытия ее все-таки вытаскивал Воннегут. Она тогда, перед тем, как заложить очки в книгу, замерла на его фразе, что свободу воли надо брать за жабры, только так наступает преодоление. Она решила, что с этим ей надо долго разбираться, и положила в книжку очки. Ведь у нее нет жабр? То, что у нее нет свободы воли, это безусловно. Если бы это был не Воннегут, она отложила бы книгу, и все. Но она уже много лет живет, держась за какую-нибудь чужую мысль. Это ее костыли. И вот доказательство: из небытия ее рванул худенький еврей, чем-то похожий на Эйнштейна, нашел у нее жабры и потянул вверх. Теперь она перед серым окном-мешком. Думает про свободу воли. Самое время! Ей хочется засмеяться над собой, но она забыла, как это делается, с той минуты, когда осталась одна, как...

Как что? Есть такое выражение: одна, как... *что?* «Перстами легкими, как сон...» – зазвенело в ухе. «Пальцами», – смеется Воннегут. «Пальцами», – хихикает языкастый физик. «Какая глупость, – думает она. – Один, как палец? Но пальцев – пять. Две руки – десять!» Она хмурит брови, которых у нее уже нет. «Надо вдуматься. Почему-то же так говорится...»

И исчезает. Она не знает ни куда, ни зачем, ни на сколько.

Возвращается, чтоб взять упавшие в снег очки. Нет, совсем не те, что оставила в Воннегута. Настолько другие, что она удивляется: разве они еще есть? Металлическая, привязанная ниткой дужка едва видна, через минуту ее занесет снегом.

Снег...

...Она стоит на корточках и «заносится» крупным сырым и серым снегом. Уже тяжелы валенки, портфель, но она все сильнее гнет голову, чтоб стало тяжело спине. Ей это очень важно. Холмики снега уже выросли на плечах, но со спиной что-то не получается, и она готова стать на четвереньки, чтобы достичь результата, тут-то и падают с носа очки. Чтоб их взять, она и становится на четвереньки. Пока пальцы копошатся в снегу, ища дужку, на спине вырастает та самая замечательная куча снега, которой ей не хватало.

Найдя и надев очки, она видит идущий к ней сугробик. «Образец», – думает она уже сейчас это слово, ей всегда было важно все назвать. «Все имеет имя» – кто это сказал? «Что в имени тебе моем?» У меня тоже должно быть имя... Эйнштейн-Воннегут показывает ей язык. Естественно, откуда им знать ее имя? «Одной звезды я повторяю имя...» Луиза. Это не ее имя. Это имя сугробика, который она ждала. Снега на спине у него целая гора, выше капора, сшитого сугробиковой мамой из куска голубого бархата старой юбки. Ее же капор из коричневого сукна – просто какашка по сравнению с голубым красавцем. Но она лишена зависти. Она хочет, чтобы у сугробика было все самое лучшее. Самое, самое... Потому что сугробик – девочка-горбуня.

И она снова легко исчезает.

Но возвращается быстро. Очень важная мысль тащит ее за жабры, требуя додумывания.

Да. Очень важная. Тогда лицо в голубом капоре было для нее самым прекрасным в мире. Все другие – прыщеватые, угреватые, с ямками ветрянки и следами золотухи, крапленые неизвестно еще какой хворью, но все, как один, прямоспинные, сопливожелтые, не согбенные – прямые как палки – были, на ее взгляд, не просто некрасивы, они все были уроды. А Луиза-горбуня была куколка. Жаль, что никто так не считал, только мама, но она готова была разделить любые ее мысли и ощущения. Она говорила, что Господь Бог милостив ко всем. Красивое

лицо он дал поносить горбунье для уравнивания горя горба, чтоб бедняжке было легче жить, чтоб не пугала людей. «Попробуй пожить с такой бедой».

Вот она и села в валом валяющий снег, чтобы вырастить на спине горб и пройти рядом с Луизой. Конечно, какое там сравнение. Но горкой снега на спине ей хотелось приблизиться к непонятности чужой жизни; как она узнала много позже, это называлось «побыть в чужой шкуре».

Она сидела с Луизой за одной партой, она подвигала к ней невыливайку, а однажды пришла раньше всех в школу и переставила все парты, чтобы Луизе досталась та, где спинка отстояла дальше от крышки. За этой партой сидел в самом углу злобный мальчишка, и он, придя, стал тащить свою парту назад, но она села, упершись ногами в пол, а в лицо мальчишке бросила ту самую невыливайку, которая попала ему прямо в глаз.

...Мысль была очень тяжела, неподъемна. И они покинули друг друга. Мысль исчезла, как исчезает след капли на стекле, как звук в тишине, и сама исчезла так же... Была – не стало.

Она возвращается с выражением «межумочное пространство». В ее обиходе этих слов не было точно. Пространство этих слов было крохотным, неосвоенным никакой даже маломальской жизнью. Это были просто слова, висящие в воздухе. Но если висящие, то на чем? Она хочет это понять. И понимает. Слов как таковых нет вообще, их нет нигде, ни на веревочках, ни на бумаге, ни даже в голове. Их нет, и они есть. Они сразу и время, и имя, и пространство, они земля и небо, и даже мизинец на ее ноге. Он у нее крохотный, и на нем узкая полосочка ногтя в розовой мякоти. Охватывает стыд за собственное несовершенство, да о чем это она? Какое там совершенство? Она...

Она хочет вспомнить себя. Надо же случиться, что начала она с этого мизинца. С «межумочного пространства» – поправляет ее кто-то. Она отмахивается от голоса рукой, которой у нее нет, как нет и ноги с бракованным ногтем мизинца, у нее, собственно, уже нет ничего. Но она этого не знает. Ей отвели полсуток вот такой, на подкормке мозга, жизни. Она одиночка, и некому вытягивать из врачей душу, чтоб узнать о ней правду. Вся надежда врачей на то, что мозг устанет. Устанет без импульсов тела, без ощущений живой жизни. А главное, без сердца, которое дышит на ладан. Дано ли им знать, лекарям, что мозг постиг свое межумочное существование и сейчас делает все возможное, чтобы эта женщина, в теле которой он просуществовал больше пятидесяти лет, ушла насовсем с ощущением полноты жизни?

В конце концов, мозг ведь уйдет с нею же. Значит, это нужно и ему. У него снимут все импульсы и биотоки те, кому это надлежит сделать, в другой системе координат, а сам он – прежде живой, пульсирующий, перламутрово-серый, с огромным неиспользованным потенциалом, будет сожжен, как какая-нибудь берцовая кость!

...Она снова вспоминает себя. Перед выпускным вечером она увидела платье, которое сшила ей мама. Вот когда ей захотелось умереть по-настоящему. Умереть ей хотелось часто. Когда умерла Луиза, когда умерла бабушка.

На воспоминании о бабушке случается водоворот мыслей. Они наскакивают друг на друга, так всегда, потому что бабушка ей не бабушка. Ее бабушка – акация в огороде. А та, от которой водоворот, как раз акацию и посадила. Но неважно... Какая есть, такая есть – она их объединяет, акацию и ту, что приходила и объясняла, как надо надевать галоши при помощи ложки. У галош слабое место – задник. И если делать абы-абы, то галош будет спадать и останется где-нибудь в грязи. Еще надо мыть шею и за ушами. Умываешься – прихватывай и эти места. Раз забудешь, два – и уже полная затрепа, чумичка.

А потом она увидела ее уже на столе, где бабушка не была бабушкой, а была – вот ужас! – торжественным блюдом, утыканным цветами и свечами.

Она не хочет лежать на столе.

– И не будешь! – смеется Воннегут.

«Да!» – кричит она и танцует, танцует на выпускном в мамином крепдешиновом в мелкий цветочек платье. «Но этого не было», – спохватывается она, хотя танцует именно в нем. Ей снова хочется закричать: «Этого не было!» – она ведь так свято воспитана на правде, но что-то ей мешает, и она продолжает танцевать, краем глаза следя за летящим подолом в цветочках. Потом она ощущает прохладу крепдешина на коленях и воздух. Что дует не с завода лакокрасок, а со стороны долины, где сладко пахнет клевером. На косогоре хорошо лежать на спине, глядя прямо в глаз Полярной звезде.

Но она никогда, никогда, никогда не позволила бы себе лежать спиной на холодной земле долины. «Из земли так прохватит, что потом никакими лекарствами не возьмешь!» – говорит мама. Она же в таком красивом платье лежит-полеживает. Ну какой надо иметь ум...

На этом слове она исчезает.

Мозг в смятении. Он ведь хочет как лучше. Он ведь ничего не врет, он просто достает из глубины ее же желания, но она почему-то не узнает их в лицо.

... Она возвращается в странное место, где не была никогда. Или была? Домик-развалюха, а дом должен быть прям и тверд, и его должен окружать забор, не в редкую доску, а чтоб одна в одну влипала.

Однажды мама подвела ее к дому, где жил секретарь райкома, и сказала: «Запомни! Я хочу, чтобы ты жила в таком доме». Огромная собака стала прыгать на забор, норовя их достать, и мама добавила: «И чтоб собака у тебя была еще злее». Мечты у мамы одноэтажные, крепкие. Мама ни разу не была в большом городе, хотя до него всего шестьдесят километров. «Мне туда не надо», – гордо отвечала она. Но был уже телевизор, плохонький, но все-таки. Из него узнавали про очень высокие дома. «Люди не вороны, чтоб жить на высоте. Ты никогда так не живи».

... Так вот, домик-завалюха. Все вкривь-вкось. Можно отодвинуть доску стены и заглянуть внутрь. Можно отодвинуть две – и войти.

Она не хочет об этом думать. Еще чего! Она уводит себя из этого стыдного дома и исчезает.

Видимо, мозг ее трепещет от отчаяния, от невозможности справиться с нею.

... Я там не была. У меня не могло быть в таком месте дел.

Дела. Хорошее слово. Прочное, как мамин намечтанный дом. Дела, дом. «Д» – вообще основательная буква. «Дурак, дубина, дьявол», – говорит ей Воннегут. Или Эйнштейн, она запуталась. Но кто-то взял и снова мягко перенес ее в кривую избушку. Ну, ужас, как в нее можно войти? И действительно раздвигаются две доски в стене, и оттуда торчит голова, которую она ненавидит всю свою жизнь, она так ненавидит ее, что обрушивает домишко-кривишко и исчезает вместе с ним.

... Она не знает, что из реанимации выносят умирающих, и ее уже подвигают ближе к выходу. В коридоре ждут люди, которым еще могут помочь ее трубочки. В сущности, она уже раздражает своей живучестью.

Каким-то непостижимым образом она это улавливает: она никогда в жизни ничьего места не занимала. Вынесите меня, пожалуйста! Она не знает, что ее внутренний крик услышан стрелками аппаратов, и к ней подошли.

– Все идет к концу, – сказал врач, который поспорил на бутылку виски, что она не задержится на белом свете и пятнадцати минут. Шла четвертая... Другой (оптимист) говорил о запасе прочности советского тела, которое живет, будучи мертвым по сути, и так может держаться до бесконечности. Во всяком случае, часов пять она пролежит. Он от души желал этого больной, тем более что у него не было денег на виски, а выигранная бутылка хорошо бы стояла в его шкафчике, имея очень глубокое назначение. На нее могла бы клюнуть одна врач-анестезиолог, дама красивая, пьющая, гуляющая, но не со всеми и не всегда. Самое же смешное, что бутылка виски пессимисту была нужна для той же самой половой цели. Живой мир

жил живыми желаниями плоти, столь сильными, что один доктор норовил сделать укол для поддержания сердца, а другой криком кричал, что это «почти хулиганство» так истязать умирающего человека.

...Она же стоит у проема в стене, и ее зовут войти в эту хибару. Она просовывает голову. Оглушительно (глупо сказано по отношению к запаху) пахнет мышами. У противоположной от нее стены стоит широкая с шишечками кровать с панцирной сеткой. На сетку брошено старенькое стеганое одеяло, на нем сидит, раскачиваясь, Он. Его зовут Глеб. Она южанка, она называет его Хлеб, и ей стыдно перед другими, но еще стыднее переходить на звонкость, рождающуюся где-то в глубине гортани, и этим предать живущее прямо во рту, теплое и мягкое «Х». Ее произношение демонстрируют.

– Скажи-ка, ты! Голубь!

Многие смеются. Больше всех Хлеб.

Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Карл у Клары украл кораллы. При чем тут это? Тут другое!

...Она исчезает.

Мозг устал. Нет, он сам по себе еще сильный, его могло бы хватить на сотню лет. Он устал преодолевать ее сопротивление. Она не хочет идти за мыслью. Она ее боится. Вот от страха выскочивший из других пределов памяти книжный Карл. ...Там, на панцирной сетке, сидит живой полнокровный молодой человек, это он пренебрег взламыванием замка, а вошел в дом сквозь стену и теперь зовет ее. Так было! Было! И пахло мышами. А никакого идиотического Карла не было сроду. Но она держится за Карла и не входит в избу с мышами и Глебом.

Войди, просит мозг. Войди, прошу тебя.

Она входит в домишко на курьих ножках.

Шишечки на железной кровати. Такие были у бабушки. Они легко отвинчивались. И бабушка потом их искала по всей квартире. Одна так и не была найдена. И бабушка привязала на это место бант. Бант был красивей шишечек. И она вынула ленты из косичек, чтобы заменить все шишечки. Но бабушка, бабушка! Как она могла так поступить. Она посадила шишечки на клей. Один бант и много шишечек.

Она исчезает.

Доктора-дуэлянты склоняются над ней. Уже идет десятая минута. «Межумочное пространство», – говорит тот, у которого нет бутылки виски.

Она вздрагивает на живущие в ней слова.

...Оказывается, она уже сидит на кровати. Глеб держит ее за талию. Она почти теряет сознание от мышиноного духа, от легкого покачивания на сетке, конечно, она теряет над собой контроль, если уже не сидит, а лежит на спине, а Глеб подсовывает ей под голову собственную рубашку, и теперь он над ней голый по пояс, такой весь загорело пахнувший. Это какой-то особый запах. Он ей нравится, его хочется жадно втягивать ноздрями все время, но еще чего! И она вскакивает, и бежит в проем в стене, и выскакивает во двор, давно оставленный жизнью. Он так горек, этот двор, с тележной осью с одним колесом, с рассыпавшейся на планки бочкой, какой-то стыдной в упавших обручах, с заржавелой тяпкой, прислонившейся к осыпающемуся ржавчиной рукомоёйнику, с заросшей собачьей конурой... «Так выглядит смерть», – подумала она, но через всю эту смерть уходит Глеб с мятой рубашкой на плече. Он не смотрит в ее сторону. И она понимает, что он подлец. Он пришел только *за этим*. В ней было столько гнева, обиды и боли... Но где-то у бывшего забора он остановился и сказал равнодушно:

– Пошли, что ли...

Значит, ей надо пройти через этот мертвый брошенный двор, принадлежавший когда-то егерю, потом через лес, который сторожит этот *егерь*. Она держится за это красивое слово, ласкает языком, сглатывает горьковатую сладость.

И – вот фантастика! – возвращается в домишко. Она ложится на кровать, железный край панцирной сетки давит ей затылок, она подкладывает косы, у нее они толстые, деревенские. Так говорят тутошние девчонки с пухом на темечке вместо волос. Она лежит и ждет с закрытыми глазами. Она слышит, как скрипит гвоздь, когда отодвигается доска, она слышит шаги и то, как он останавливается и смотрит на нее. Она принимает его тяжесть, его торопливость. Она не помогает ему ни в чем, потому что тогда он увидит, как нетерпеливо дрожат у нее руки, как она вся горит. Он справляется сам, и она принимает боль и восторг освобождения от тела, которое летит, легкое и счастливое, неизвестно куда, чтоб уже никуда не вернуться...

– Егерь, – говорит она громко.

– Что она сказала? – спросил тот, что выиграл пари.

– Егерь, – ответил проигравший. – Из охотниц, что ли?

Мозг устало оседает на дно головы, в уютную ямку затылка. Он умрет через две минуты. Это достаточно много, чтобы испытать удовлетворение от проделанной работы. Он, мозг, отправил в небытие женщину, в которой жил, на самом лучшем транспорте из возможных – наслаждении. Как же глубоко она запрятала это свое неосуществленное счастье; не вспомни она слово «егерь», так бы и не нашел мозг среди миллионов клеток ту, что была единственной, несостоявшейся любовью.

Китеж на вашу голову

Звонок был хамский.

– Вы тетя Зина?

– Куда вы звоните?

– Тете Зине. Это вы? Ну шо вы в Москве все такие запуганные?

Я никому в этой жизни не тетя Зина. У меня нет племянников. И вообще я сто лет уже Зинаида Николаевна, к которой обращаются на вы. Муж зовет меня Идой, а тех, которые могли бы меня назвать Зиной, я давно, давно утратила.

Но это «шо»... От него мне не деться никуда. Пряный вкус и острый запах слов-паразитов родины ворвался ко мне в дом, даже не переступив его порога. Он меня душит, но одновременно я им наслаждаюсь. Только *оттуда* меня могут назвать как угодно. Мои земляки никогда не были озабочены поисками слов. «Ты жопа, Зина, – это при покупке неудачного укропа. – На шо ты его купила?» «Тю на тебя!» – говорили мои школьные подружки во всех случаях жизни – радости и горя. «Чего это грубо? Грубо за грубкой (печкой) хватать за грудки». Слова на моей родине – птицы вольные, никакими правилами не окольцованные.

– Да, – отвечаю я. – Я тетя Зина. С кем имею честь?

– Та ну вас, тетя, с вашей честью. Я Тосина дочка. Лидка. Я стою возле вашего дома, но не знаю, на шо нажать, чтоб дверь открылась. Говорите, я записываю.

Кто такая Тося? Имеется в виду, что я ее знаю? Но я такой не знаю!

– Та говорите же! Я не наводчица. Я Тосина дочка. Чаусовы мы, от вас с краю.

Так, наверное, должен подыматься град Китеж для тех, кто в него верит и ждет его всплытия. Сначала купола в морской тине с ошметками парусов, потом все ниже и страшней до самых что ни есть косточек, косточек, косточек русских. На меня же надвигается хатка, бедная-пребедная. Там живет Тося, она шьет на продажу стеганые валенки, которые носят те, что еще беднее ее. Тося погорела на обмене денег в шестидесятом. Мой народ всегда бывает застигнут врасплах жизнью. «Тока-тока» перестали забирать людей, как стали отымать деньги и вещи. Какие красивые костюмы были у шахтеров, лучше летчицких. Отменили. И все подземные доплаты отменили тоже. А огороды? Сколько раз ходили и вымеряли, и ни разу, чтоб добавить, всегда, чтоб урезать. Про животных уже и говорить нечего. Когда запретили коров, это, честно говоря, было хуже начала войны.

О, моя улица, я впадаю в твой стиль, я вижу эти шитые валенки тети Тоси, я их уже надела, как моя бабушка. Я училась со способным хулиганом Витькой Чаусовым, но я не помню в их доме никакой Лидки. Родина падает мне на голову, как снег с крыши, у нее такие шутки. Заваленная, я могу что-то и забыть. Но я помню, а потому называю код. Я идиотка. Так делать нельзя, хотя какой с меня спрос: меня накрыло с головой «шо», «тю», я сама «надела валенки» и уже не знаю, кто я такая есть.

Она входит с полиэтиленовым пакетом, из которого торчат желтые цветочки. Она смотрит на меня, и в ее лице начинает что-то меняться, переключаются какие-то внутренние тумблеры, мысль наскакивает на мысль, и одна из них гибнет.

– Чего это я решила, шо вы моложе? – говорит она. – Это из-за Витьки. Он у нас все еще холостяк, и девки вокруг него молодые. А вы уже дама в возрасте. А Витька не хочет жениться, таскает домой баб, соседи в стенку стучают.

– А где он работает? – спрашиваю я.

– Как всегда, электриком, – отвечает она даже с некоторой обидой, что я не знаю, где и чем занимается мой бывший одноклассник. Я просто чувствую, как она меня в этот момент отвергает. О, это чертово гоголевское племя Солох и Одарок! Потом ведьминское уходит с ее лица, и она тарашит глазки, одновременно доставая из пакета бутылку с подсолнечным маслом.

Я вынимаю бумажную пробку и вдыхаю этот удивительный смачный дух. Я нюхаю его долго, чтобы отбить острый дезодорант, которым пышет моя гостья.

На ней коротенькая, по самое «то», не больше, джинсовая юбочка, которая была укорочена ею самой грубыми стежками и нитками не в цвет.

– Маслице мы всегда берем у тети Поли, вы вспомните, у нее была горбатая доча, с вами и Витькой в одном классе училась.

Она все путает, моя гостья. Горбунья Луиза старше меня лет на пять, а может, семь. Я пошла в школу, а она уже была то ли в седьмом, а может, и восьмом классе.

Но я с ней не спорю. Ей лет двадцать, двадцать два (значит, тетя Тося родила ее поздно, когда меня там и близко не было, я уже кончала институт). Она сидит на кухне на ломкой табуреточке, у нее длинные с мощными бедрами ноги, они растягивает юбку, делая ее еще короче, и я вижу трусики в цветочек и натертые следы от них, чувствую неудобство, которое доставляют они в ходьбе, ну, в общем, я ее по-женски жалею.

– Шо вы смотрите мне в пипку? – говорит гостья. – Вы шо, читаете ее мысли? Да, я хочу в уборную, где это у вас?

На обратной дороге она внимательно заглядывает во все комнаты.

– И сколько вас тут прописано? – спрашивает она.

– Мы с мужем, – отвечаю я.

– Кучеряво живете, – вдруг очень зло говорит моя гостья. – Три комнаты на двоих. А, между прочим, беженец с Украины прет и прет. Сдадите комнату?

– С какой стати? – это уже я говорю зло.

– Вы толкаете людей в проституцию, – отвечает она.

– Ну и с богом! Откуда я знаю? Может, это именно то, что им нужно? Может, только об этом они и думали, собираясь в Москву?

– Может, и так, – отвечает она. – Ну и что такого? Я запросто пойду в проститутки. Говорят, только надо найти хорошую мамку. У вас нет хорошей мамки, чтоб не обижала, чтоб медицина там и все такое?

Я – соляной столб. Я несчастная жена Лота, что оглянулась сдуру.

– Да не пугайтесь так. Я еще до этого не дошла. Иду, но не дошла. А квартира ваша подходит для другого. Мы у вас будем делать поминки. Больше не у кого... Я обошла всех. Никто не пустил даже на порог. Отшивали по телефону. Хорошо, что я знала ваш адрес. И пришла ногами. По телефону вы бы тоже отшили.

Я ее не слышу. Я перебираю всех родных и близких, которые могли умереть без моего ведома. Даже подумать страшно, сколько знакомых и не очень я схоронила в эти несколько секунд. Бред идеи поминок был отодвинут, я истерически искала покойника.

– Верку Разину помните? – спрашивает гостья, и теперь я знаю, как попадает пуля в цель, как разлетаешься на куски, и последняя мысль – не ужас, а наивное и детское «надо же!». За капельку до того, как была названа фамилия, я подумала: а где, интересно, сейчас Вера Разина?

Странный прилепок нашей семьи.

...Мама рассказывала, что мать с дочерью бежали от немцев буквально с двадцать второго июня сорок первого года. Мать была еврейка, девочка-десятилетка – полукровка, вся белесая, бесцветная, белоруска одним маминым словом. Целую ночь беженка говорила о чем-то с бабушкой, которую знала в детстве. А потом отлучилась вроде по-маленькому – и все нет и нет, нет и нет, пошли в уборную, а она висит. Мама объясняла так, что другого способа оставить ребенка, у которого ноги были сбиты до костей, еврейка придумать не могла. Бабушка упиралась, предлагала деньги на продолжение пути побега, но женщина выбрала путь в уборную. Жанна осталась у нас как племянница из Полесья. Она жила у бабушки, а потом была пристроена в семью, где нужна была нянька. Чем-то эта семья была обязана бабушке за какие-то ранние времена, то ли коллективизацию, то ли Гражданскую. Поэтому Жанна войну про-

жила спокойно, тайна ее явления в наших краях осталась тайной. Мать же Жанны была похоронена на нашем огороде. На могиле бабушка высадила акцию.

После войны, рассказывают, в нашем полугороде стали работать пленные немцы. Это были фальшивые немцы – румыны, итальянцы. Они были худы, чернявы, но, как говорила моя мама, не нашим мужикам чета. Ласковые, как телята, и красивые, как жеребята. Ну, вот все и случилось. Где-то «чи пид стрехою, чи биля криници», то бишь под крышей или возле воды, случился грех у белавой полувреечки и чернявого жеребенка из Италии. Жанна скрывала беременность от моей бабушки, от семьи, где она была приживалкой-домработницей, и от итальяшки тоже, потому как боялась, что его тогда могут заслать невесть куда. Тайное оставалось тайным месяцев до шести, а потом стало таким скандалом, что Жанна бежала куда глаза глядят. Вернулась через три года с дитем, девочкой Джульеттой, вот уж бабушка моя насмеялась всласть. Откуда ей было знать – Жанна ведь не призналась, – что девочка – итальяночка и Джульеттой названа по любовной сущности имени. Но итальянцев и румын уже куда-то отправили, и только бабушка продолжала смеяться над несчастным дитем, что все-таки несравненно лучше плача над ним же.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.